

ДМИТРИЙ

СТИХИ

ОБЪО

ВСЕМ

ВОДЕННИКОВ



Поэзия подарочная

Дмитрий Воденников

Стихи обо всем

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Воденников Д. Б.

Стихи обо всем / Д. Б. Воденников — «Эксмо», 2020 — (Поэзия подарочная)

ISBN 978-5-04-107728-0

«Поэт – человек, который слышит слово. Слово – это то, что отличает нас от животных. А с другой стороны, поэт – одно из самых древних животных со времен гибели динозавров. Поэт – маленький зверек. В сущности – крыса. Поэт – мелкий хвостатый зверек, который первым чувствует приближение катастрофы. Только бежать с корабля ему некуда. Пусть не будет катастроф. С остальным мы справимся». Дмитрий Воденников В книгу включены объективно лучшие стихотворения, ставшие неотъемлемой частью поэтического облика нового тысячелетия.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-107728-0

© Воденников Д. Б., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

«Так дымно здесь...»	6
«Любая женщина – как свежая могила...»	8
«Я не кормил – с руки – литературу...»	9
«Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает...»	10
«Но я ещё прижмусь к тебе – спиной...»	11
Так вот во что створжилась любовь	12
«Было горло красненьким, голодным, прогорклым...»	13
Приглашение к путешествию	15
Трамвай	17
«Мне стыдно оттого, что я родился...»	19
«И чтобы жизнь твоя всю жизнь стоймя стояла...»	20
«Я душный воздух пил в советской школьной форме...»	23
«Опять сентябрь, как будто лошадь дышит...»	24
«Когда бы я как Тютчев жил на свете...»	25
Стихи обо всем	26
«Куда ты, Жень, она же нас глотает...»	30
Единственное стихотворение 2005 года	31
Черновик	33
Мои тебе чужие письма	37
Стихи к сыну	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Дмитрий Борисович Воденников

Стихи обо всем

© Воденников Д., 2020

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020

«Так дымно здесь...»

Так дымно здесь
и свет невыносимый,
что даже рук своих не различить —
кто хочет жить так, чтобы быть любимым?
Я – жить хочу, так чтобы быть любимым!
Ну так как ты – вообще не стоит – жить.

А я вот все живу – как будто там внутри
не этот – как его – не будущий Альцгеймер,
не этой смерти пухнувший комочек,
не костный мозг
и не подкожный жир,
а так как будто там какой-то жар цветочный,
цветочный жар, подтаявший пломбир,

а так, как будто там какой-то ад пчелиный,
который не залить, не зализать...
*Алё, кто хочет знать, как жить,
чтоб быть любимым?*
Ну чё молчим? Никто не хочет знать?

Вот так и мне не то чтоб неприятно,
что лично я так долго шёл на свет,
на этот свет и звук невероятный,
к чему-то там, чего на свете нет,

вот так и мне не то чтобы противно,
что тот, любой другой, кто вслед за мною шёл,
на этот звук, на этот блеск пчелиный,
на этот отсвет – все ж таки дошёл,

а то, что мне – и по какому праву —
так по-хозяйски здесь привыкшему стоять,
впервые кажется, что так стоять не надо.
Вы понимаете, что я хочу сказать?

Огромный куст, сверкающий репейник,
который даже в джинсы не зашить —
последний хруст, спадающий ошейник —
что там еще, с чем это все сравнить?

Так пусть – гудящий шар до полного распада,
в который раз качнется на краю...
Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо?
я – здесь сказал, что здесь стоять не надо?

ну да сказал – а все еще стою.

*Так жить, чтоб быть
ненужным и свободным,
ничейным, лишним, рыхлым, как земля —
а кто так сможет жить?
Да кто угодно,
и как угодно – но не я, не я.*

«Любая женщина – как свежая могила...»

Любая женщина – как свежая могила:
из снов, из родственников,
сладкого, детей...
Прости её. Она тебя любила.
А ты кормил – здоровых лебедей.

Но *детским призракам* (я это точно знаю) —
не достучаться им —
до умного – меня...
А ты – их *слышишь* – тёплая, тупая,
непоправимая – как клумба, польня.

Стихотворение – простое, как объятье —
гогочет, но не может говорить.
Но у мужчин – *зато* —
есть вечное занятие:
жён, как детей, – из мрака – выводить.

И каждый год – *крикливым, птичьим* торгом
я занимаюсь в их – живой – груди:
ту женщину,
наевшуюся торгом,
от мук, пожалуйста, – *избавь и огради!*

Все стихотворения —
как руки, как объятья.
(...от пуха, перьев их – прикрой меня —
двумя!)
Да, у мужчин – *другие* есть занятия,
но нет других – *стихотворений* – у меня.

...Ты мне протягиваешь – руку наудачу,
а я тебе – дырявых лебедей.
Прости меня.
Я не пишу, я плачу —
над бедной- бедной – *девочкой* – моей...

«Я не кормил – с руки – литературу...»

Я не кормил – с руки – литературу,
её бесстыжих и стыдливых птиц.
Я расписал себя – как партитуру
желёз, ушибов, запахов, ресниц.

Как куст – в луче прожектора крошечном —
осенний, – я изрядно видел тут,
откуда – шапками – растут стихотворенья,
(а многие – вглубь шапками растут).

Я разыграл себя – как карту, как спектакль
зерна в кармане, – и – что выше сил! —
(*нет, не моих!* – моих на много хватит) —
я раскроил себя – как ткань, как шёлк, как штапель
(однажды даже череп раскроил).

Я раскроил, а ты меня заштопал,
так просто – наизнанку, напоказ, —
чтоб легче – было – жить,
чтоб жизнь была – по росту,
на вырост – значит, вровень, в самый раз!

Я превратил себя —
в паршивую канистру,
в бикфордов шнур, в бандитский Петербург.
Я заказал себя – как столик, как убийство, —
но как-то – слишком громко, чересчур.

Я – чересчур, а ты меня – поправишь:
как позвонок жемчужный – обновишь,
где было слишком много – там убавишь,
где было слишком мало – там прибавишь.
Но главное – *отпустишь* и *оставишь*
(меня, меня! – отпустишь и оставишь),

не выхватишь, —
не станешь! – не простишь...

«Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает...»

Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает.
О! матушка! как моль, мою он скушал шубку,
а нынче вот что, кулинар, удумал:
он мой живот лепной, как пирожок изюмом,
безумьем медленным и сладким набивает
и утрамбовывает пальцем не на шутку.

О матушка! где матушка моя?

Отец мне говорит: Данила, собирайся,
поедем на базар, там льва степного возят,
он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают, —
я знаю, папа, как они сверкают, —
я вытрясаю кофту в огороде:
вся кофта съедена, как мех весной у зайца,
я сам как заяц в сладком половодье.

О матушка! где матушка моя?

А ночью слышу я, зовут меня: Данила,
ни меда, ни изюма мне не жалко,
зачем ты льва прогнал и моль убил, Данила? —
так источается густой, горячий голос.
Я отвечаю: мне совсем не жарко,
я пирожок твой с яблочным повидлом.
А утром говорит отец: Пойдем в «Макдоналдс».

О матушка! где матушка моя?

Намедни сон сошел: солдат рогатых рота,
и льва свирепого из клетки выпускают,
он приближается рычащими прыжками,
он будто в классики зловещие играет,
но чудеса! — он, как теленок, кроток:
он тычется в меня, я пасть его толкаю
смешными, беззащитными руками,
глаза его как желтые цветочки,
и ослепляет огненная грива.

Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
Скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь.

«Но я ещё прижмусь к тебе – спиной...»

Но я ещё прижмусь к тебе – спиной,
и в этой – белой, смуглой – колыбели —
я, тот, который – *всех сильнее* – с тобой,
я – стану – *всех печальней* и слабее...

А ты гордись, что в наши времена —
горчайших яблок, поздних подозрений —
тебе достался целый мир, и я,
и густо-розовый
безвременник осенний.

Я развернусь лицом к тебе – опять,
и – *полный нежности, тревоги и печали* —
скажу: «Не знали мы,
что значит – погибать,
не знали мы, а вот теперь – *узнали*».

И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты —
не как любовника —
(как мать, как дочь, сестра!) —
как *современника* – утешь меня, как *брата*».

И я *скажу* тебе,
что я тебя – люблю,
и я *скажу* тебе, что ты – моё спасенье,
что мы погибли (*я понятно – говорю?*),
но – сдерживали – гибель – как умели.

Так вот во что створожилась любовь

*Так вот во что – створожилась
любовь:*

*сначала ела, пела, говорила,
потом, как рыба снулая, застыла,
а раньше – как животное рвалось.*

А кто-нибудь – проснется поутру,
как яблоня – в неистовом цветенье,
с одним сплошным, цветным стихотвореньем,
с огромным стихтворением – во рту.

И мы – проснемся, на чужих руках,
и быть желанными друг другу поклянемся,
и – как влюбленные – в последний раз упремся —
цветочным ржаньем – в собственных гробах.

И я – проснусь, я все ж таки проснусь,
цветным чудовищем, конем твоим железным,
и даже там, где рваться бесполезно,
я все равно в который раз – рванусь.

Как все, как все – неоспоримой кровью,
как все – своих не зная берегов,
сырой землею и земной любовью,
как яблоня – набитый до краев.

«Было горло красненьким, голодным, прогорклым...»

Было горло красненьким, голодным, прогорклым,
горькое, как масло, слепое, жадное горло —
жалким и жадным горлышко, как рыбешка, было,
всех проглотила жадная жалкая рыба.

А ты беги отсюда, вон пошел, скотина,
хватай за жабы и бросай, как палку.
Но уже не рыба – слышишь, не голос
и запах рыбный,
а змея цветущая, голод ее жалкий.

Уж и вьется уж, всех сожрал, мокрый:
нет у него теперь ни снохи, ни свекрови,
ни свекра.
Грабли взял – опоздал: не жало и жабы,
а глядит на тебя несчастная морда жабы.

Ам, – сказала жаба и съела тебя. Странно,
почему она плачет жемчужно и с тоски зеленей
лука,
почему она плачет жемчужно и ломает зеленые
руки:
нет у жабы ни брата, ни мамы,
ни любимого, ни любимой – всех она съела, сука.

Всех она заманила в свое горькое, горькое горло,
в рыбку свою, в свою змеиную трубку
и свистит теперь дудкой, и ей отвечает гулко,
как в органе, то одно, то другое горло.

А твой звук – самый нежный, самый высокий,
лежи без муки, пой высоко – будет
плакать тебе: скоро жаба разбрызжет дольки,
полетят, как ракета, ноги ее и руки,
полетят, как ракета, руки ее и ноги,
выйдешь ты из нее, выйдут другие люди.

Май, – скажут, – ай; май, куличи да пасхи,
победили мы суку эту, рыбу, змею, жабу,
будем лапками в лапту играть; царские примерять глазки.
А у меня горло болит: жалко жабу.

Взял я мертвое горло, склизкую трубку в тряпку
(тошнило меня, тряпкою взял, боялся),
вырыл ямку и горло укрыл в грядку:

спи спокойно, недолго уже осталось.
Третий день молчу, глотку покрыла корка,
болит, болит, братец, у братца твоего горло.

Приглашение к путешествию

*Не может быть, чтоб ты такой
была:*

*лгала, жила, под тополем ходила,
весь сахар съела, папу не любила
(теперь – и как зовут меня –
забыла),
зато, как молодая, умерла.*

*Но если вдруг – все про меня узнала?
(хотя чего там – взглянуть в могиле*

—

*да и вообще: всё про могилы лгут,
то, что в пальто, не может
сыпаться пылью,
ботинки ноги мертвому не жмут).*

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем,
давайте соберемся и поедем,
мои товарищи, ужасные соседи
(но только если всех туда возьмем) —
в трамвайчике веселом, голубом.

Сперва помедленней, потом быстрее,
быстрее
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
(но зелень пусть бежит еще быстрее,
она от туч сиреневых в цвету,
она от жалости еще темнее) —
и мимо праздника и мимо Холидэя
(теперь о нем и думать не могу)
летит трамвай, свалившийся во тьму.

Хотя б меня спаси, я лучше быть хочу
(но почему я так не закричу?),
а впереди – уже Преображенка.
Я жить смогу, я смерти не терплю,

зачем же мне лететь в цветную тьму
с товарищами разного оттенка,
которых я не знал и не люблю.
Но мимо магазина, мимо центра
летит трамвай, вспорхнувший в пустоту.

Так неужель и ты такой была:
звала меня и трусостью поила,
всех предавала, всех подруг сгубила,
но, как и я, краснея, умерла.

Но если так, но если может быть
(а так со мной не могут пошутить),
моих любовников обратно мне верни
(они игрушечные, но они мои, мои!)
и через зелень, пыльную опять
(раз этих книжек мне не написать), —
с ВДНХ – подбрось над головой —
трамвай мой страшный, красный, голубой...

Трамвай

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем —
мы это не узнаем, не поймем
(ведь умирать так стыдно, так обидно),
зато как зайчики, ужасные соседи
мы на трамвае золотом поедем.

Сперва помедленней, потом быстрее,
быстрее
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
а он, как спичка, чиркнув на мосту
несется, заведенный в пустоту
(куда и заглянуть теперь не смею),
с конфеткой красной, потной на борту.

Но вот еще, что я еще хочу
(хоть это никогда не закричу) —
а позади уже бежит Стромынка:
обидно мне, что, падая во тьму,
я ничего с собою не возьму —
ни синяка, ни сдобы, ни ботинка,
ни Знаменку, ни рынок, ни Москву.

А я люблю Москву – и вот, шадабиду,
я прямо с Пушки в небеса уйду,
с ВДНХ помашет мне Масловский.
Но мой трамвай, он выше всех летит,
а мне всё жаль товарищей моих,
и воробьих, и воробьев московских.

Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час – музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей —
всё, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать), —

тогда, ах если бы (иначе я боюсь),

тогда Барановым и Долиным клянусь:
что без музеев (из последних сил
я в них всегда, как сирота, ходил),
без этих шариков, которые всегда
от нас не улета́ли никуда —
без них без всех — я упаду во тьму
и никого с собой — не утяну.

«Мне стыдно оттого, что я родился...»

Даниле Давыдову

Мне стыдно оттого, что я родился
кричащий, красный, с ужасом – в крови.
Но так меня родители любили,
так вдоволь молоком меня кормили,
и так я этим молоком напился,
что нету мне ни смерти, ни любви.

С тех самых пор мне стало жить легко
(как только теплое я выпил молоко),
ведь ничего со мною не бывает:
другие носят длинные пальто
(мое несбывшееся, легкое мое),
совсем другие в классики играют,
совсем других лелеют и крадут
и даже в землю стылую кладут.

Все это так, но мне немножко жаль,
что не даны мне счастье и печаль,
но если мне удача выпадает,
и с самого утра летит крупа,
и молоко, кипя или звеня,
во мне, морозное и свежее, играет —
тогда мне нравится, что старость наступает,
хоть нет ни старости, ни страсти для меня.

«И чтобы жизнь твоя всю жизнь стоймя стояла...»

*полстолетья спустя
без посвящения*

1.

И ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ТВОЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
СТОЙМЯ СТОЯЛА
ОДНИМ УПРУГИМ И ЦВЕТУЩИМ КУБОМ
И ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ТВОЕЙ МОГИЛОЙ СТАЛО,
НО ТОЛЬКО Я ТВОЕЙ МОГИЛОЙ БУДУ.

2.

Это я —
в середине весны, в твердой памяти,
в трезвом уме,
через головы всех,
из сухого бумажного ада —
это я – так свободно —
к тебе обращаюсь,
к тебе,
от которого мне – ничего, кроме жажды, не надо.

3.

Потому что сейчас —
через почки и глыбы идя,
из-под почек и глыб – я сейчас так отчетливо
знаю,
что из всех претендентов
ты – все ж таки выбрал – меня,
потому что я старше тебя и себя защищать
не желаю.

4.

Это *ты* полстолетья спустя —

*ты с меня соскребешь эту ложь
и возьмешь,
как тюльпан, как подростка, за мою лебединую
шею.*

*Только что ж ты так долго,
так долго навстречу идешь,
только что ж это я —
так безропотно — ждать не умею.*

5.

*О, как тужатся почки в своем воспаленном гробу,
как бесстыже они напряглись, как набухли в мохнатых могилах —
чтобы сделать все то, чего я — не хочу, не могу,
не желаю, не буду,
не стану, не должен,
не в силах.*

6.

*Но зато я способен бесплатно тебе показать
(все равно ведь уже
никуда не сдрыгнуть и не деться),
как действительно надо — навстречу любви
прорасти,
как действительно надо — всей жизнью —
цвести и вертеться.*

*...За одну только ночь, в преждевременном
взрыве листвы,
все так жадно рванулось — с цепи,
все так жарко — в цвету — пламенеет.
Вот и я —
отпускаю тебя — из прохладной своей пустоты,
потому что никто (даже я) на тебя этих прав —
не имеет.*

7.

*И не важно, что, может быть, я
все, что есть у меня, — отпускаю.*

Эта жизнь и могила — твоя.
Золотая она, золотая.

«Я душный воздух пил в советской школьной форме...»

Я душный воздух пил в советской школьной
форме,
а через двадцать лет в июле шла гроза,
а я сидел и рвал – с тоской и с корнем
из наших писем наши имена.

Я с кровью рвал, что было между нами,
как сорняки, когда в руках – земля:
фиолетово-желтый воденников, васильковая
мелкая Аля,
подзаборная Лена – и красного с черным
тебя.

Я всех швырял – перед грозой, в июле,
без права переписки так сказать:
папу, мачеху, маму, Андрюшу, Полину
и Юлю
(почему-то мне именно Юлю особенно
страшно швырять).

Но я сказал сестре: – Не бойся, дорогая,
сестра моя и брат, я – уходящий в тьму,
всех тех, кто жил со мной, благословляю,
лиловым брюхом, синеглазым краем,
грозой, ползущей в письма и в листву.

Наоборот – сквозь сон прерывистый
и лживый,
под стук мяча и визги во дворе —
я слышу всё: вы счастливы и живы,
и вы намерены жить долго на земле.

Но что же делать мне с обрывком
и осколком,
с куском, изорванным в сиреневую мглу,
от Сени, мальчика, от моего ребенка:
– ... *меня, и глупую любовь мою.*

«Опять сентябрь, как будто лошадь дышит...»

Опять сентябрь, как будто лошадь дышит,
и там – в саду – солдатики стоят,
и яблоко летит – и это слышно,
и стуки, как лопаты, говорят.

Ни с кем не смог
ни свыкнуться, ни сжиться —
уйдут, умрут, уедут, отгорят —
а то, что там, в твоём мозгу стучится,
так это просто яблоки стучат.

И то, что здесь
сейчас так много солнца,
и то, что ты в своей земле лежишь,
надеюсь, что кого-нибудь коснется.
Надеюсь, вас. Но всех не поразишь.

А раз неважно всем,
что мне еще придется,
а мне действительно еще придется быть
сначала яблоком, потом уже травой —
так мне неважно знать: ни то, что будет
мною,
ни то, что мной уже не сможет – быть.

А что уж там во мне *рвалось и пело*,
и то, что я теперь *пою и рвусь*,
так это все мое (сугубо) дело,
и я уж как-нибудь с собою разберусь.

Смирюсь ли я, сорвусь ли, оскудею
или попробую другим путем устать,
я все равно всегда прожить сумею,
я все равно всегда посмею стать.

Но – что касается других:
всех тех, которых нет,
которых не было,
которых много было —
то если больно им
глядеть на этот свет
и если это важно вам – спасибо.

«Когда бы я как Тютчев жил на свете...»

Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.

О как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.

А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).

Но почему ж тогда себя так жалко – жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь – меня.

Стихи обо всем

Влюбленные смотрят друг другу в глаза, но не видят тебя, а видят куски мешковины и куклу из тряпок. — Посмотри на меня! — Я совсем не твоя судьба, я товарищ тебе, твой любовник, цветок и собака.

...Кстати, о собаке. Когда я ложусь спать и выключаю свет, она стоит внизу у кровати, там, в темноте, и терпеливо ждет, когда я ей дам команду: — Иди сюда. (Она очень воспитанная собака). И вот я говорю: иди ко мне! — и она начинает прыгать, прыгать, как оглашенная, цепляясь передними лапами за кровать, вытягивая морду, подрагивая невидимыми миру ушами, карабкаясь и срываясь.

Она так отчаянно хочет выбраться ко мне из этого мрака, так хочет забраться сюда, под защиту, в привычную жизнь, на подушку, в родное тепло, что мне вдруг начинает казаться, что это другой мрак и другие прыжки...

Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не допрыгнет.

1.

Пасха. Буддийский божок сидит на порожке —
попой ко мне, мордой к балкону
(весь обласканный солнцем, с хвостиком
посередке),
буркает на прохожих, заливается периодическим
басом.
— Ну что, — говорю, — Барабашка, не веришь
в нашего бога?
Обернулся божок, улыбается, не отвечает.

2.

А ведь раньше было не так: вот уж любили
друг друга — так это любили,
ссали на место, бегали друг за другом,
я с мокрой тряпкой — за ней, а она —
от меня и по кругу,
забивалась черным комком под трубу в туалете,
закрывала глаза, утыкалась мордочкой в угол,
и, как цуцик, дрожала и была так тлетворно —
моя.
А бежать было некуда: был я один на свете,

круглый как бог и безжалостный как земля.

И так все это было по-пахански, по-лагерному,
скучно, невыносимо,
что однажды она приползла ко мне утром
(четырёхмесячная), после очередных побоищ,
вскарабкалась мне на грудь,
легла и заснула,
и такая тоска воцарилась,
что я только смотрел безглаголю
на нежный ее звериный затылок,
на поникшие уши ее, на пахучий детский висок —
и вдруг так отчетливо понял: Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

И УЖЕ НИКОГДА НЕ СМОГУ ПОЛЮБИТЬ —
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

...а когда мы очнулись — уже наступила весна
и мы спали обнявшись, как две разноцветные
гусеницы,
и сквозь наши горячие руки
бил любви равнодушный ток.

3.

Вот и мы... Как устанем мы оба, и ты скажешь
мне «уходи»,
соберу я в солдатский мешок свои плюшевые
игрушки,
миску, ложку, лоток, поводок, все собачьи
справки свои,
и вползу попрощаться с тобой
и — усну на твоей груди...
Но уже на будущий год — я проснусь
равнодушной кошкой.

4.

Потому что любовь прохладна. — И никакая она
не твоя,
да и я никакой не бог, чтобы быть беспощадным
и душным,
ведь горячее — бывает шкурка, твой живот
и моя рука,
а любовь, что меж нами течёт, как изнанка

цветка, – равнодушна.

5.

Даже страшно подумать, что я,
тут живущий который год,
ничего не знал про любовь (и так много уже
не узнаю) —
а цветок открывает утром свой большой
темно-розовый рот,
ну а там темно-синий огонь – непогашенный —
полыхает

и не гаснет... За этот измятый на солнечном ветре
огонь
ты отдашь постепенно – и тело, и ум, и ладонь,
с нарисованной в детстве чудесной и скушной
судьбой,
но кому интересно, чего там сгорело с тобой.

7.

Вот и мне безразлично... Ни с женским душным
пупком,
ни с мужским безобразьем, ни с пишущим
человеком,
ни с собакой (ударить ее, а она – уже лижет,
любя)...
– Я хочу быть солнцем косым и прохладным
ветром,
и цветком – распускающимся без меня.

8.

Потому что не надо «достроить»,
а надо разрушить себя,
перейти мал-помалу в осознанный блеск
и пробел —
растрепавшейся буквой на кончике языка,
чтобы то, что ты хочешь сказать, ни один
повторить не хотел.

9.

Ты сегодня себе обещал: в этот год
и на несколько лет
(сколько есть их) вперед, – улыбающийся
и безоружный,
я смотрел и буду смотреть в равнодушный
трепещущий свет,
ни круглей, ни румяней
которого нет – и не нужно.

10.

Но тогда – отчего мне так жаль – что во тьму,
потоптавшись, пойдет,
недолюбленный мной,
этот шелест и трепет и пыл:
эта грубая женская жизнь, этот твердый
мальчишеский рот,
и скулящий комок темноты, что я на руки брать
не любил...

11.

– Оттого, мой хороший, и жаль,
что в конце бесконечного лета,
(а сейчас я с тобой говорю – у кровати —
из тьмы и огня),
ты был круглым солнцем моим
и моим беспощадным ветром,
и единственным страшным цветком,
раскрывавшимся – для меня.

«Куда ты, Жень, она же нас глотает...»

*Евгению Ш., Соколову, Кукулину
и другим моим друзьям*

Куда ты, Жень, она же нас глотает,
как леденцы, но ей нельзя наестся.
(Гляди, любовниками станем в животе.)
Так много стало у меня пупков и сердца,
что, как цветочками, я сыплюсь в темноте.

Я так умею воздухом дышать,
как уж никто из них дышать не может.
Ты это прочитай, как водится, прохожий,
у самого себя на шарфе прочитай.
Когда ж меня в моем пальто положат —
вот будет рай, подкладочный мой рай.

Я не хочу, чтоб от меня осталось
каких-то триста грамм весенней пыли.
Так для чего друзья меня хвалили,
а улица Стромынкой называлась?

Из-за того, что сам их пылью мог дышать,
а после на ходу сырые цапки рвать —
ботинкам розовым и тем со мною тесно.
Я бил, я лгал, я сам себя любил
(с детсада жил в крови ужасный синий пыл),
но даже здесь мне больше нету места.
Я не хочу в Сокольниках лежать.
Где пустоцветное мое гуляет детство,
меня, как воробья в слюде, не отыскать.

Но вот когда и впрямь я обветшаю —
искусанный, цветной, — то кто же, кто же
посмеет быть, кем был и смею я?
За этот ад — матерчатый, подкожный, —
хоть кто-нибудь из вас — прости,
прости меня.

Единственное стихотворение 2005 года

*О, эта мука детских фотографий
людей, которых мы любили или
любим
(все эти уши, ёжики и лбы),
она не в том, что все они –
жемчужны,
не в том она, что мы им – не
нужны,
а в том, что мы про них уже все
знаем,
а им не видно – собственной судьбы.*

Ну, вот я и вернулся сюда – в тридесатую
эту весну,
в тридцатисемилетнюю пыль, в лопухие
столбики счастья...
– Я хотел рассказать тебе *там*,
а теперь расскажу тебе *тут*,
про двух мальчиков, двух медвежат, про двух
девочек, Рому и Настю...

Всех прекрасных, сопливых, больных,
безработных, нездешних, не наших,
я собрал на апрельском, на майском своем
корабле —
бедный мальчик в крапиве (с мечом деревянным)
+ Света, и Саша,
бурундук сумасшедший и девочка на колесе...
Только не было сил у меня быть огромной
дощатой скворешней
и тянуть соловьиный кадык в лопушнях золотых
неудач...
– Это кто ж, интересно, у нас
тут такой неземной и нездешний?
– Это я, это я тут у вас – весь такой неземной
и нездешний,
потетешкай меня, посплюни, ткни мне в пузо
цветной карандаш.

Потому что я тоже смотрю из своей лопухой
весны
на ужасную взрослую жизнь – и никак не могу
наглядеться:
сколько разных, прекрасных, родных —

я когда-то любил и забыл,
в 21 столетье своем, в ненасытном твоём
королевстве.

...Бурундук малахольный помрёт, мы схороним
его на углу
на медвежьем июньском углу, где сцепились
малина с крапивой...
– Я вернулся сюда посмотреть
(потому что потом не смогу)
на корабль, на двух медвежат, на двух
мальчиков – Олю и Диму.

Черновик

*потому что стихи не растут
как приличные дети,
а прорастают ночью, между ног,
и только раз рождаются в столетье
поэт-дурак, поэт-отец, поэт-цветок.*

1.

Да, вот именно так (а никак по-другому)
ушла расплевавшись со всеми моя затяжная
весна,
и пришла – наконец-то – моя долгожданная
зрелость.
Только что ж ты так билось вчера, мой сытое
хитрое сердце,
только что ж ты так билось, как будто
свихнулось с ума?

...Я стою на апрельской горе – в крепкосшитом
военном пальто,
у меня есть четыре жизни (в запасе), у меня есть
письмо от тебя:
*«Здравствуй, – пишешь мне ты, – я серьезно
больна,
И у меня нет жизни в запасе. Завтра у меня
химиотерапия.
Однако я постараюсь выжить, я буду бороться.
Ты же – постарайся быть счастливым.
Живи, по возможности радостно.
И ничего не бойся».* – Ну вот я и стараюсь.

2.

Ну так вот и *старайся* – вспотевший,
воскресший, больной
записать эту линию жизни на рваной бумаге
(электронной, древесной, зеленой, небесной,
любой)
и за это я буду тебе – как и все – благодарен.
Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей

и зверей! —
...вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет
Кирилл Медведев,
а вот человек (пригревшийся на раскаленном
камне), несколько лет нёсший возле меня свою
добровольную гауптвахту,
с переломанной в детстве спиной, сам похожий
на солнечную саламандру,
на моё неизменное: «бедный мой мальчик»,
отвечавший —
«нет, я счастливый»...

3.

Эти люди стоят у меня в голове,
кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве,
кто по маковку в смерти, кто в победе своей —
без следа.
Эти люди не скоро оставят меня навсегда.
Ну а тех, кто профукал свою основную
жизненную битву
кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше,
в полях под Москвой,
мы их тоже возьмем — как расстрелянную
голубику
на ладонях, на солнечных брюках и юбках, —
с собой.

4.

...Мы стоим на апрельской горе — в крепкошпигованных дурацких
пальто,
Оля, Настя и Рома, и Петя и Саша,
и хрен знает кто:
с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще,
небесным столбом,
с заброшенным к небу прозрачным любимым
лицом
(потому что все люди — с любимыми лицами —
в небо столбы).
Я вас всех научу — говорить с воробьиной горы.

5.

— Здравствуйте, — скажет один. —
Я единственный в этой стране
защищавший поэзию от унижения,
наконец-то готов подписаться под тем,
в чём меня упрекали:
— Да, это всё не стихи,
это мой живой, *столько-то-летний* голос,
обещавший женщине, которую я любил, сделать
ее бессмертной,
а не сумевший сделать ее даже мало-мальски
счастливой...

— Здравствуйте, — скажет второй, —
если когда-нибудь в дымный апрель
выпив полбутылки мартини (или чего вы там
пьете?)
вы вдруг вспомните обо мне, затосковав
о своей несбывшейся жизни, —
НЕ СМЕЙТЕ ОТКРЫВАТЬ МОИ КНИГИ,
НЕ СМЕЙТЕ ВОСКРЕШАТЬ
МОЙ РАССЫПАННЫЙ ГОЛОС,
НЕ НАДО БУДОРАЖИТЬ МОЙ ПРАХ.

— Потому что я любил вас гораздо больше,
чем вы меня, — *скажет четвертый*, —
да и нужны вы мне были, гораздо больше,
чем я был вам нужен,
и поэтому я не буду вырывать у вас палочку
победителя.
(да и какой из меня теперь победитель?).

6.

...Однако,
так как на роль человека с трудной мужской
судьбой претендую всё-таки я,
то всё что останется мне — это выйти вперед,
наклониться к людям (ближе других) и сказать:
— Дорогие мои, бедные, добрые, полуживые...
Все мы немного мертвы, все мы бессмертны
и лживы.
Так что постарайтесь жить — по возможности —
радостно,

будьте, пожалуйста, счастливы и ничего
не бойтесь
(кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти,
но и этого *тоже* не бойтесь).

7.

Потому что всех тех, кто не выдержал главную
битву,
кто остался в Париже, в больнице, в землянке,
в стихах под Москвой,
все равно соберут, как рассыпанную землянику,
а потом унесут – на зеленых ладонях – домой.

Мои тебе чужие письма

Один человек, страстный садовод, пытался натянуть нити вдоль грядок, на которых он посеял салат-латук, для того, чтобы защитить его от птиц. Его жена вернулась из магазина и обнаружила паутину из нитей, завязанных сложным и бессмысленным образом, вне зависимости от направления грядок. Это был первый признак того, что в последующем оказалось слабоумием.

(Из книги по психиатрии)

*– Закрыв глаза и посмотрев на свет,
на белый свет, продольный и огромный,
скажу: – Мне было шесть,
а стало тридцать шесть,
а что там между – я уже не помню.*

1.

...
...
...
...
...
...
...
...
...

2.

Есть такое понятие «открытые блоги»,
электронные дневники.
Раньше были дневники Шелли, Байрона,
потом Марины Цветаевой, потом Анны Франк
(девочки спасавшейся от фашистов
в нидерландском подполье),
а вот теперь наши —
открытые всем ветрам: простые, загадочные,
тупые, как лопухи у дороги...
Вот девушка пишет: *о как я хочу уехать
отсюда!* —
а потом узнаешь, что это была ее последняя
запись
(ее вроде изнасиловали и убили),

а вот уже взрослая женщина пишет,
вспомная свое детство в советской больнице
(ей нет еще 40):
*«...я подошла к ней ночью и положила ей на лицо
подушечку,
потому что это был мой единственный выход
так как я не могла больше терпеть их унижения
и побои,
но я и теперь ни о чем не жалею» —*

но всё не так страшно (как же не страшно?),
чаще смешно, вызывающе, неинтересно...

3.

Едва осознана мужская красота,
но тут же схвачена и заперта в подвале.
— Скажи, что там осталось от тебя,
нецарский сын, князёныш и царевич,
в 1492 году, 20 сентября,
четырнадцатилетний Иван,
семилетний Дмитрий Андреич?

— Ничего я вам не скажу, гуси-лебеди вы,
дураки, -
отвечает князёныш (наверное, кареглазый),
во влажной рубахе, истлевший, из самой земли...
...А я пишу тебе второе письмо: «Здравствуй,
видно, чего-то сильно мне не хватило в этой
жизни (или хватило выше крыши)
если я — к человеку, который к тому же и младше
меня -
обращаюсь с приказом, нет, с требованием —
понимания и пощады».

4.

В этом смысле — открытая жизнь, подорожники,
лопухи
становятся невиданным опытом
(всем предшественникам непонятным):
— Всё тайное когда-то становится явным, —
говорят нам они.
— Нет, всё тайное становится явным *сегодня*, —
им отвечаем мы
из лопухов подзаборных, из-под лютиков
неопрятных.

– Сам подумай, что *именно* ты много-много
столетий спустя
перепутаешь леску, морковку от птиц охраняя,
оглянешься, увидишь: стоит у калитки
твоя молодая жена,
а ты даже не вспомнишь, как звать ее —
Наденька? Рая?

5.

Ты мне пишешь:

«...Я тебе не нужна как женщина, как живое тело, как живая душа. Я тебе нужна как стихотворенье. И ты, не осознавая в полной мере силу своего могущества, сделал этим своим стихотворением так, что я в сознании других стала „умирать на глазах“, или – что я уже вообще кладбищенская „статуя“.

Удивляются, увидев живой.

Чего уж тут спорить, мраморное надгробие может быть настоящим шедевром. Твоя роль „лигмалиона-наоборот“ меня не обижает, нет. Ты на самом деле не виноват. Я не хочу, чтобы ты за прошлое винил себя. Просто имей в виду – мне вполне хватит одного надгробия. И больше не надо, договорились?»

6.

Я тебе пишу:

«...Мне очень понятна тоска Тютчева, когда он идет вдоль большой дороги. Потому что он взывает к костям и праху. Или к ангелу, что в сущности не важно. Он хочет не потеряться причинным местом через фланельку брюк об этот призрак, если бы тот явился на мгновение. Он просто хочет его обнять. НО НЕ МОЖЕТ.

А я мог. Как я мог обнять Олю, когда она уходила по улице после вечера 22 декабря в ОГИ, когда мы увиделись первый раз после разрыва. Мы стояли замерев какие-то 10 секунд на темной улице, чувствуя, как бьется у нас человеческое сердце, но мы знали, что ближе нас уже никого не будет. И что изменить ничего невозможно.

И СЕРДЦЕ НА КЛОЧКИ НЕ РАЗОРВАЛОСЬ, – как сказал тот же Тютчев.

Ну что ж, зато теперь оно разрывается постоянно».

7.

Ты – мне пишешь:

«...и вот, в куче старых штрафов за неуставную парковку нашел твое раритетное письмо. От 15 июля 2003 года. Распечатка на принтере. Письмо, понятное дело, было прощальным. Зачем я его некогда распечатал – не знаю. Наверное хотел порыдать над ним в лопухах, но по живости натуры отвлекся и забыл.

А может все же и порыдал, потому что оно было в каких-то разводах (я люблю разбирать почту в росистых полях).

Кто знает – уже не вспомнить. И что я подумал?

Что это твое старинное со мной прощание номер три тыщи сорок семь так же соотносится к нашему настоящему прощанию, как тот черновик к готовому продукту».

8.

Вот и мы точно так же строчим эти письма —
к тебе, ни к кому,
к никуда, в ни зачем — как китайские Gucci
и prada.
— Жизнь прожить, не запачкав подошвы,
нельзя никому,
у меня на подошвах — две бабушки,
мама и Прага.

9.

Но покуда — в 12 раз, поимённо (имейте в виду)
огрубевший, медовый, июльский,
тупой и медвежий —
в 21 столетье цветет, распускаясь у всех на виду,
мой единственный письменный *ты*,
мой бессмысленный стихотворешник,

10.

и покуда над этим над всем — над проплешинами земли, над Древней Русью, над петровской Россией, над Советским Союзом, над новой Россией плывет, неважно кому адресованное (да я и не помню): маме ли, Лене, отцу ли, сестре или Коле, (потому что всё это сейчас мне важнее — всех наших любовных историй), — мое золотое письмо, я сажусь и пишу:

*...И вот только тогда через сутки, уже в Москве,
за минуту, как пришла твоя смс-ка,
я вдруг понял, ЗАЧЕМ Я ЕХАЛ ТУДА.
Через все месяцы, все километры,
через эти три дня.
Я ехал, чтоб посмотреть на тебя в упор.
И чтобы обнять.
Очень может быть, что в последний раз.
Как тогда на улице, в поднебесном аэропорту.
Просто так: не по-братски, не по-дружески,
не как любовник, и не как бывший любовник.*

А так просто — на десять секунд, как будто бы навсегда. Вот интересно, стоит вся эта груда времени, все эти безумные километры одного десятисекундного объятья.

Стихи к сыну

*Мне приснился сегодня ночью (ну почти приснился) перед
страшной душной грозой очень странный цикл.*

*Я сразу увидел его как некий многоярусный компактный куст,
обсыпанный белоснежными, синими и розовыми цветками.*

Цветки были мелкими, а строфы короткими.

Сам же куст – был какой-то праздничный и веселый.

А главным героем этого цикла-куста был ты.

1.

Мне этой ночью вдруг приснился этот цикл:
и куст – квадратный, праздничный и мелкий
и папы с мамами, висящие на ветке
(как новогодние конфеты или белки),
и ты придирчиво *не выбиравший* их.

– Чего мудришь? – (мне было непонятно
и я сказал тебе об этом со спины), —
ты повернулся и сказал мне: «Папа,
как хорошо, что ты со всеми не висишь».

2.

В 25 лет мне уже однажды снилось, что у меня есть сын, но я не умею его пеленать.
Неосторожным движением я поворачиваю его головку так, что у него с отвратительным хру-
стом ломается шейный позвонок. Я слышу, как к закрытой двери с топотом приближаются
люди и меня охватывает страх перед расплатой.

А он сидит у меня на руках – мертвый, какой-то неестественно прямой, голый (я держу
его под попку, как младенцев вообще-то не держат, но он *на самом деле* очень удобно сидит),
смотрит на меня какими-то взрослыми встревоженными глазами, гладит меня своей маленькой
ладонью по лицу, как будто бы успокаивая: «Не бойся, папа, не бойся, всё обойдется. Они
подумают, что я сам умер».

3.

Ты ждал меня среди взрослеющих детей,
единственный не прибавляя в росте
(не то, что б маленький, *а просто как подросток*).
...Обидно, мне б хотелось повзрослей.

Я вижу куст из роз и незабудок синих,
из крупных катышков, из мелкого огня:

я говорю с тобой как с мальчиком и сыном,
а ты, как взрослый, смотришь на меня.

Я говорю тебе: – Мне, правда, непонятно,
зачем сейчас, в июле, пред грозой
ко мне пришел трехлетний, неприятный
немецкий мальчик, нерожденный мной.

Ведь мне не жаль тебя, я знать тебя не знаю,
мне только интересно, сколько ты
пытался вырваться из этого китая
(толкая мальчиков и девочек толкая)
чтоб дотянуться до меня – из темноты.

Но куст дрожит и сыпет дождик мелкий,
на нём ни пап, ни мам, ни даже белок нет.
Среди других детей ты не в своей тарелке:
тебе сегодня – девятнадцать лет.

С тех пор – как выпускник, надев дурацкий
галстук,
у мертвого куста, сожженного живьем
(в тот год июль гремел – и грозы были часты), —
все разошлись, а ты стоишь столбом.

Но новый куст зацвёл, сгоревшему на смену,
12 лет прошло, но вас на свете нет:
– Ну как мне *зватьтебя хотя бы*, недомерок? —
я говорю, а он молчит в ответ.

Когда-нибудь, нажавшийся цветами
я выплыву к тебе – не тем концом
вертлявой белкой и вперед ногами,
с счастливым и бессмысленным лицом.

К тебе, – мой старший, некрасивый мальчик,
чтоб для тебя быть вечно молодым
высоким немцем, розовым китайцем
таким же как и ты глухонемым.

4.

– Сразу хочу заявить, что это не война, не гибель мира, не фашизм и даже не хоспис. Но сегодня я попросил Настю и Рому завезти мне еды (потому что я сегодня не хотел выходить из дому)...Но ровно в 11 вечера выяснилось, что Настя не получила мое смс, а Рома уехал в Питер. Вывод: нужно было заводить семью, Дима. Потому что любая ажурность- всегда останется только ажурностью. Рано или поздно ты окажешься один, без продуктов, без взаимных иллюзий и главное без предупреждения.

Невинный случай, который даже репетицией старости и безработицы не назовешь. Так... предзакатный пустячок. На почве разбаловавшегося самосознания. Однако я ни о чем не жалею. К тому же я всегда любил одиночество.

– Папа, о каком одиночестве ты говоришь? В морозилке есть замороженные овощи, я принес их еще вчера. И готовое мясо. Хлеб ты не ешь, я знаю. Но все же – замечу в скобках – там есть хлебцы и еще пюре одноразовое.

– Это просто поразительно. Я им про то, что я космическая сирота в этом мире насилия и наживы, а они мне – о каких-то овощах и про одноразовое пюре.

5.

*А девочка еврейского народа
(и русского) сказала в сентябре,
что если и убьет ее природа,
то только яблоком по голове.*

Как Н. Хрущев засеял кукурузой
все подмосковные совхозные поля,
так я засеял всю литературу,
в стихи натыкав – ваши имена.

Гроза уже ворчит над здешним садом,
лиловым брюхом не задев земли —
но здесь ни девочек, ни яблок нам не надо:
до них два мальчика еще не доросли.

Я назову тебя: не миша, коля, женья
(такие имена – для мертвых и живых),
я буду звать тебя: то Ося, то Арсений:
как близнецов – с футболкой на двоих.

Я смастерил для вас – шифрованный
набросок,
кривой скворешник, книжку для детей:
для двух скворешников мне не хватило досок,
отцовства, времени, терпенья и гвоздей.

Когда мы жили на даче, отец водил меня в лес, в сухой ельник, и рассказывал мне про гамлета, а я слушал и разводил короткой палкой подозрительные грибы и мухоморы в стеклянной банке из-под венгерского горошка. Я подсыпал туда хвои и ландышей (белоснежные их пахучие головки) и этим снадобьем пытался напоить бабушку, чтобы она стала бессмертной.

Бабушка, разумеется, из банки пить отказалась, сказав, что предпочитает умереть как люди.

Однажды – когда я был еще совсем маленьким – я ждал папу и очень хотел в туалет. Я не научился (так и не смог) ходить на горшок в детском саду, у всех на виду. И всегда терпел до упора. Поэтому я приплясывал в конце смены на детсадовском дворе, выглядывая, когда же

из ворот появится отец. Когда он наконец появился, я обкакался (от радости), а обкакавшись заплакал. От униженья. Но хотя вокруг было очень много ребят, никто ничего не заметил.

Еще я помню, что мне казалось, что папа очень мало любит меня и, если честно, стыдится. Поэтому когда однажды в Анапе в последний день перед отъездом (он перед этим читал мне один рассказ Мериме) он сказал, что хочет сфотографировать меня на прощанье, я решил, что у него в объективе спрятан маленький шпионский пистолет и он меня непременно застрелит. Без свидетелей. Он повел меня к морю (действительно пустынному), посадил на скамейку и прицелился. У меня до сих пор сохранилась эта фотография, где я сижу, вцепившись руками в сиденье, и внимательно смотрю в объектив. Понятно, что папа меня не застрелил. Но по крайней мере – теперь я знаю, как выглядит лицо человека перед расстрелом.

А еще...

Когда мне было уже 38 лет, я нашел книгу стихов моего дедушки, которую издал отец, когда ему самому было только 30 (собственно, столько же – сколько и дедушке, когда он эти стихи писал). Папа рассказал мне, что около 40 – он перечел эту книгу и неожиданно позвонил своему папе, захлебываясь от какой-то невозможной тоски и нежности. Там были такие стихи:

...пускают мальчики бумажных голубей
И свято верят в невозможность расставаний,
А птицы рвутся в новые края
И режут синеву, перо роняя
И расстается «девочка моя»
с напополам разорванным «родная»...

Папа, неродственный в общем-то человек, сильно плакал в телефонную трубку и очень хотел сказать своему отцу, что любит его и понимает. То есть понимает, что тот хотел сказать – тогда, тридцатилетним – в этих своих почти домашних стихах. Но сказать у него получилось плохо: когда мужчины плачут, они почти не умеют параллельно говорить (боятся, что голос будет звучать слишком высоко). Но дедушке, наверное, было приятно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.